

Шестакова Елена Юрьевна

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕТСТВЕ И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО И Ч. ДИККЕНСА

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2009/12-2/71.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2009. № 12 (31): в 2-х ч. Ч. II. С. 184-187. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2009/12-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

С середины XX века под влиянием трудов В. В. Виноградова термин «словосочетание» приобрел чрезвычайно узкое значение и стал применяться только в отношении тех сочетаний, которые включают не менее двух знаменательных слов, находящихся в отношениях подчинения. Несмотря на то, что эта точка зрения не разделялась многими ведущими отечественными лингвистами, она стала господствующей в отечественной лингвистике.

В современной зарубежной лингвистике понятием «словосочетание» пользуются ограниченно, применяя в необходимых случаях более широкие по смыслу термины «синтагма» [ЛЭС, 1990, с. 469]. Однако понятие синтагма не следует смешивать с понятием словосочетания. На это обращали внимание еще Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева, определяя синтагмы как простейшие смысловые единства, на которые членится предложение [Зиндер, Строева, 1975, с. 238].

Приведенные мнения свидетельствуют о том, что до настоящего времени не существует общепринятого определения такой синтаксической единицы, как словосочетание. Серьезные расхождения в ее трактовке в отечественной лингвистике и за рубежом приводят к появлению разных точек зрения на проблему взаимосвязи предложных групп и предложных словосочетаний. Основными из них являются следующие: согласно первой точке зрения (Л. Блумфилд) предложные конструкции относятся к предложным словосочетаниям; представители другой точки зрения (В. В. Виноградов) подвергают предложные группы полному исключению из учения о словосочетании.

Представляется правомерным для обозначения предложных сочетаний использовать термин «предложная группа», поскольку характерной чертой словосочетания является отсутствие коммуникативной направленности, и большинство лингвистов относит его к области номинативных средств языка, вследствие чего возможность рассмотрения словосочетания в составе предложения является спорной.

Список литературы

1. Ахманова О. С. Словосочетания // Вопросы грамматического строя. М., 1955. С. 455.
2. Блумфилд Л. Язык. М.: «Прогресс», 1968.
3. Виноградов В. В. Русский язык. М.–Л., 1947.
4. Ерхов В. Н. О статусе предлогов. Исследования по общему и немецкому языкознанию. Тула, 1974. С. 3-12.
5. Жирмунский В. М. О природе частей речи и их классификации // Вопросы теории частей речи (на материале языков различных типов). 1968.
6. Зиндер Л. Р., Строева Т. В. Современный немецкий язык. М.: Лит-ра на ин. яз., 1975.
7. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990.
8. Рейман Е. А. Английские предлоги. Значения и функции. Л.: Наука, 1982.
9. Съедин В. Н. Предлоги немецкого языка. М: Высшая школа, 1963. 287 с.
10. Шведова Н. Ю. Русская грамматика. М., 1980. Т. 1.
11. Шендельс Е. Й. Грамматика немецкого языка. М: Лит-ра на ин. яз., 1959.
12. Cleveland C. G. Straight forward. Clauses and phrases. New York: Garlic Press, 1993. P. 43.
13. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim (Wien), Zürich, 1984. Bd. 4.
14. Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart, 1986.
15. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache / VEB Bibliographisches Institut. Leipzig, 1971.
16. Schendels E. I. Deutsche Grammatik // Morphologie-Syntax-Text. М., 1979.
17. Schröder Jochen. Lexikon deutscher Präpositionen. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1986.
18. Thomas L. Beginning syntax. Oxford: Blackwell Publishers, 1993. P. 125.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕТСТВЕ И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО И Ч. ДИККЕНСА

Шестакова Елена Юрьевна

Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Северодвинский филиал

В истории вопроса о влиянии западноевропейской традиции на русскую литературу особое место занимает исследование взаимосвязи творчества Ч. Диккенса и Л. Н. Толстого. Давно замечено, что в XIX веке «Россия стала второй родиной для произведений крупнейшего романиста Англии» [Катарский, 1966, с. 8]. Первый всплеск интереса в русской литературной среде к творчеству Ч. Диккенса связан с появлением перевода романа «Домби и Сын» (1848). В. Г. Белинский пишет: «Все, что написано до этого романа Диккенсом, кажется бледно и слабо» [Белинский, 1956, с. 442]. Неизгладимое впечатление на русского читателя произвел и роман Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд» (1850). Сам Л. Н. Толстой называет Ч. Диккенса любимым писателем, включает «Дэвида Копперфилда» в список литературы, оказавшей на него сильное воздействие.

В отечественной критике и литературоведении обстоятельно исследован вопрос о влиянии романов Ч. Диккенса на повесть Л. Н. Толстого «Детство» (1852). Изучение толстовской повести вылилось в поиск реминисценций из Ч. Диккенса на уровне эпизодов, мотивов, образов, тем (Н. Н. Апостолов, П. Попов, Б. М. Эйхенбаум). При этом исследователи замечают: «В сравнении с героем Толстого Дэвид Копперфилд выглядит внутренне статичным» [Катарский, 1966, с. 295]. На первый взгляд, это утверждение кажется аб-

судным на общем фоне исследовательских оценок творчества английского писателя. В отечественном и зарубежном литературоведении признается тот факт, что детские образы, глубина проникновения в душевный мир ребенка являются крупнейшим художественным открытием Ч. Диккенса. Э. Уилсон, Г. К. Честертон, Т. И. Сильман отмечают процесс эволюции детских образов в творчестве английского писателя. При этом, сопоставляя образы Дэви Копперфилда и Николеньки Иртеньева, исследователи усматривают в герое Ч. Диккенса большую статичность, указывают на отсутствие «внутренних исканий» (И. М. Катарский), «развития его характера и эволюции моральных установок» (Я. С. Билиннис). Ч. Диккенс увлечен изображением внешних событий жизни героя, что не позволяет ему «погрузиться в глубины человеческой психологии, постичь «диалектику души», раскрыть образ человека в развитии», в чем и состояло «новое слово, сказанное Толстым по сравнению с Диккенсом» [Там же, с. 296].

Эти на первый взгляд противоречивые исследовательские оценки объединяет общая художественная установка, характерная для Ч. Диккенса и Л. Н. Толстого, – изображение человека, меняющегося во времени. Отличие состоит в разных способах изображения, точнее, в особенностях психологического анализа писателей, которые можно выявить при сопоставлении сходных по фактуре эпизодов. Обратимся к тексту IX главы романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», эпизоду смерти матери героя: «За день или два до погребения – мне кажется, за день или два, но я могу спутать, когда речь идет об этом печальном времени, которое не было отмечено никакими событиями, – Пеготти повела меня в комнату моей матери. Я помню только, что мне казалось, будто под белым покрывалом на кровати – а вокруг была такая чистота и такая прохлада! – покоится воплощение торжественной тишины, царившей в доме» [Диккенс, 1959, с. 157–158]. Это типичная для Ч. Диккенса манера повествования героя о своем детстве, стилистика которого определена усилиями воссоздания деталей давно ушедших событий. Они «всплывают» из глубин его памяти, восстанавливая вытесненные события детства, переживания, душевные побуждения («за день или два до погребения Пеготти повела меня в комнату моей матери», «вокруг была чистота и прохлада», «под белым покрывалом на кровати покоится воплощение торжественной тишины»). Все это жило и продолжает жить в глубинах сознания героя и актуализируется лишь в момент повествования, не нарушая его нравственной позиции в мире. Его ощущения и оценки событий все те же, несмотря на то, что какие-то незначительные детали могли и ускользнуть, утратить четкие очертания («мне кажется, за день или два, но я могу спутать», «я помню только, что мне казалось»). Не существует конфликта между сознанием ребенка и взрослого героя, они разнятся лишь четкостью восприятия событий. То, что непосредственно предстояло ребенку, взрослый герой восстанавливает по крупицам в своей памяти. Однако оценка происходящего в жизни мальчика все та же, ее не тронуло время. По существу, это единое сознание героя, прошедшее через толщу времени и сохранившееся в своих принципиальных установках, оценках, сохранившее свое единство в меняющемся времени. В этом смысле оно статично.

Совсем иная расстановка акцентов наблюдается у русского писателя. XXVII глава повести Л. Н. Толстого «Детство» начинается с раскрытия потока сознания маленького Николеньки Иртеньева: «Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающейся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть» [Толстой, 1992, с. 85]. Сцепление восприятий, переживаний, действий («я смотрел и чувствовал», «я не спускал с него глаз»), воображения («а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем», «я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающейся»), движений чувств и побуждений («вдруг меня поражала какая-нибудь черта на бледном лице, на котором остановились мои глаза»), памяти («я вспоминал ужасную действительность») – все это составляющие работы исключительно детского сознания. При этом сознание ребенка представлено противоположным сознанию взрослого героя, вступает с ним в конфликт. Восприятие ребенка резко сталкивается с оценкой взрослого человека: «только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна» [Там же, с. 85–86]. Нравственно-эмоциональная оценка произошедшего принадлежит взрослому повествователю, и в этом его принципиальное отличие от ребенка. В тексте толстовской повести «Я» взрослого Николая Иртеньева – это иной тип сознания, нежели «Я» маленького Николеньки. Само обозначение нравственной оценки события («мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство», «печаль моя была неискренна и неестественна») делает противоположными, несовместимыми эти два типа сознания. «Я» в детстве, не осознающий «самолюбивость», «неискренность и неестественность» своего чувства, является совершенно другим, нежели «Я» взрослого человека, обремененное этим осознанием. По существу, мы присутствуем при столкновении двух различных этических систем, ценностных установок.

Такое столкновение невозможно для героя Ч. Диккенса, занятого лишь актуализацией вытесненных из сознательного уровня детских переживаний, по отношению к которым он не ощущает нравственного антагонизма: «Помню, я чувствовал, что должен держать себя с достоинством среди учеников и что моя утрата как бы придает моей особе некоторую значительность. Если ребенок когда-нибудь испытывал истинное горе, то таким ребенком был я. Но припоминаю, что сознание этой значительности доставляло мне какое-то удовлетворение, когда я прохаживался в тот день, один на площадке, откуда остальные мальчики находились в доме. Когда я увидел, как они глазят на меня из окон, я почувствовал, что выделяюсь из общей среды, принял еще более печальный вид и стал замедлять шаги» [Диккенс, 1959, с. 151]. В прозе Л. Н. Толстого это замечание о детском ощущении своей «значительности», «выделенности из общей среды» непременно бы превратилось в предлог для нравственного дистанцирования героя-повествователя, нравственного осуждения им героя-ребенка. Однако Ч. Диккенс проходит мимо этой возможности, демонстрирует абсолютную идентичность нравственно-этической позиции, полное совпадение самооценок героя в своих разных возрастных ипостасях.

Большая «внутренняя статичность» героя английского писателя, на которую обратили внимание исследователи, объясняется статичностью его нравственно-этической позиции в мире. В герое она априори признается неподверженной временным изменениям, что становится очевидным на фоне толстовской прозы, построенной на совершенно иных установках. Дэвид Копперфилд отличается от себя в детстве только тем, что он стал «опытнее и умнее» [Диккенс, 1959, с. 273]. В логике диккенсовского романа «опыт» и «ум» понимаются как приемы и навыки защиты от агрессии окружающего мира, приобретаемые героем в процессе взросления. В романе английского писателя чистая, не оскверненная пороками душа ребенка брошена в мир, изначально оцененный как «потерянный рай», невосстановимый и необретаемый на земле, богоотчужденный и несовершенный, мир. С этим порочным земным миром душа ребенка принципиально несовместима. Ощущая иноприродность ребенка, мир, перед которым он абсолютно беззащитен и уязвим в своей чистоте и невинности, стремится сломать, смять, уподобить его себе. В земном и порочном мире, в который брошен беззащитный в своей чистоте и невинности ребенок, есть конкретные виновники его унижения и страдания: семья, школа. В детстве Дэвид Копперфильд сталкивается с «тираническим, мрачным, высокомерным, дьявольским нравом» отчима Мэрдстона, его «страстью к мучительству» [Там же, с. 63, 144]. Система общественного воспитания и образования, ее служители в романе Ч. Диккенса предстают персонифицированными носителями зла, призванными сломать, уподобить себе уязвимого в детстве, беспомощного героя. Дэвид Копперфилд попадает в «школу, где царит неприкрытая жестокость», а из всех учителей он особо выделяет «ужасного мистера Крикла», который «с полным основанием утверждал, что он зверь», поскольку «бил мальчиков с таким наслаждением, словно утолял волчий голод» [Там же, с. 110–115].

Взрослея, ребенок начинает осознавать свою иноприродность окружающему миру, внемирность. Постепенно он вырабатывает навыки защиты от его агрессивного воздействия. Все это не меняет основ нравственной позиции в мире диккенсовского героя. «Близкое знакомство» маленького Дэвида Копперфилда с тюрьмой Королевской скамьи, с «грязными закоулками жизни улиц Лондона» [Там же, с. 273] приносит ему глубокие душевные страдания, но при этом остаются неизменными глубинные душевные импульсы, определяющие отношение к себе, людям и миру. Он по-прежнему «не может спокойно слушать, как осуждают его старую няню», с первой встречи распознает душевную низость Урии Хипа, в полной мере оценивает «благотворное влияние» [Там же, с. 273–277], которое оказала на него Агнес. По сути, «перемены», произошедшие в Дэвиде Копперфилде по мере его перехода от детства к юности, состоят лишь в том, что он «вырос, возмужал и многому выучился» [Там же, с. 321]. При этом квинтэссенция его нравственной позиции в мире остается неизменной во времени. Взросление же Николеньки Иртеньева касается прежде всего системы его нравственных установок, проходит через кардинальное изменение детского сознания, взгляда на мир. Прием столкновения потока сознания ребенка с потоком сознания взрослого повествователя, фиксирующий изменение нравственной оценки событий, выявляет принципиальное изменение самого «Я» героя. Столкновение двух типов сознания (детского и взрослого), выявляющее их этическую разнонаправленность, подчеркивает их существенную автономность по отношению друг к другу, и, в конечном счете, автономность мира детства в системе представлений о человеческой жизни, времени, когда и сам герой, и мир вокруг него были другими. В толстовской повести детство – отдельная эпоха, самоценная, непохожая ни на один из последующих жизненных периодов, и поэтому прямолинейно не связанная с ними. Отсюда и подчеркнута ностальгические настроения взрослого повествователя, для которого принципиально невозможно возвращение в «счастливую невозвратимую пору детства». Счастливым и безмятежным периодом детство видится только взрослому повествователю, но не ребенку. В «Дэвиде Копперфилде», где сознание героя сохраняет свое единство на всех возрастных этапах, детство всегда одинаково оценивается как время страданий и унижений, и поэтому не рождает ностальгических чувств.

Единство образа Дэвида Копперфилда на фоне меняющегося времени в полной мере осознается самим Ч. Диккенсом и оценивается в тексте романа как «невидимое, неощутимое движение жизни – от детства к юности» [Диккенс, 1959, с. 317]. «История жизни» героя выстраивается в логике процесса постепенного становления его как писателя. Дэвид проходит жизненные этапы от «несчастливого детства» к юности, времени «обольщения туманными мечтами о самостоятельности и о чудесном впечатлении, которое он произведет на общество» [Там же, с. 326], потере этих «иллюзий», и далее – к зрелости, к постижению тонкостей мастерства художника слова. В этой логике детство Дэвида интересно не само по себе, а лишь как период,

встроенный в цепь его непрерывного развития и изменения, неразрывно связанный с будущими жизненными событиями. В «Дэвиде Копперфилде» сохраняется «динамическое единство образа героя» [Бахтин, 1979, с. 200], допускающее лишь внешние трансформации, но не глубокую метаморфозу. Процесс взросления героя, как уже отмечалось, сводится к процессу обретения навыков, приемов защиты от внешнего разрушающего воздействия мира и общества, детские годы предстают значимыми только в цепи последующих жизненных этапов. Все это свидетельствует о глубинной связи романа Ч. Диккенса с традицией европейского романа воспитания XVIII века (Г. Филдинг «История Тома Джонса, найденныша», И. В. Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера», Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» и др.). Именно для романа воспитания «характерно изображение мира и жизни как опыта, школы, через которую должен пройти всякий человек и вынести из нее один и тот же результат – протрезвление с той или иной степенью резиньяции» [Там же, с. 201].

Таким образом, своеобразие русских представлений о детстве обнаруживает себя на уровне особенностей психологического анализа. Если для Ч. Диккенса – старшего современника Л. Н. Толстого – нравственная позиция героя в мире остается неизменной на протяжении всей его жизни, а оценка событий, людей не подвергается существенной корректировке, то и предложенные им приемы литературного психологического анализа не могут выявить конфликта между мировосприятием взрослого человека и ребенка, не могут, в конечном счете, обосновать самоценности мира детства. Ребенок в концептуальных подходах английского писателя в своей нравственной составляющей – тот же взрослый человек, только лишенный жизненного опыта, помогающего ему противостоять злу мира, а потому слабого и беззащитного. Причем такой подход к теме детства в прозе Ч. Диккенса принадлежит традиции романа воспитания XVIII века, обосновавшего концепцию «динамического единства образа героя» в «линейном времени». Л. Н. Толстой в повести «Детство» открыл прием художественного воплощения конфликта двух типов сознания (детского и взрослого), выявляющего их принципиальное отличие друг от друга (разные нравственные установки). Такой способ изображения позволил усилить ощущение уникальности детского сознания, его неповторимости, равно как неповторимости и самоценности периода детства, обособить эпоху детства от других жизненных периодов, наделив его атрибутами эпического прошлого, воспринимающегося как гармоничный «золотой век». Это ставит под сомнение вопрос о генетической связи русской повести о детстве с традициями западноевропейской литературы, и актуализирует проблему ее уникальности в мировом литературном процессе.

Список литературы

1. Бахтин М. М. Роман воспитания и его значение в истории реализма // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 188–236.
2. Белинский В. Г. Полное собр. соч.: в 13 т. М.: АН СССР, 1956. Т. 12. 596 с.
3. Билинкис Я. С. Новаторство Л. Н. Толстого в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Л.: Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. Н. Герцена, 1973. 42 с.
4. Диккенс Ч. Собр. соч.: в 30 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 15. 526 с.
5. Катарский И. М. Диккенс в России. Середина XIX века. М.: Наука, 1966. 428 с.
6. Сильман Т. И. Диккенс. Очерки творчества. Л.: Худож. лит., 1970. 375 с.
7. Толстой Л. Н. Полное собр. соч.: в 90 т. М.: Изд. центр «Тerra», 1992. Т. 1. 356 с.
8. Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса. М.: Прогресс, 1986. 320 с.
9. Честертон Г. К. Чарльз Диккенс. М.: Прогресс, 1982. 400 с.